

Пруд в зимнюю пору

После тихой зимней ночи я проснулся с таким чувством, точно мне задали вопрос, на который я тщетно пытался ответить во сне — что — как — когда — где? Но то была пробуждавшаяся Природа, в которой пребудет все живое; она безмятежным взором заглянула в мои широкие окна, и на ее устах не было вопросов. Ответ был дан — Природой и светом дня. Глубокий снег, молодые сосны и самый склон, где стоял мой дом, казалось, говорили: Вперед! Природа не задает вопросов и не отвечает на вопросы смертных. Она уже давно приняла решение: «О царевич! Взор наш восторженно созерцает, а душа воспринимает дивные и бесконечно разнообразные зрелища нашего мира. Ночь, несомненно, скрывает от нас часть этого великолепия; но наступает день и озаряет великое творение, простершееся от земли до заоблачных пространств».

Принимаюсь за утреннюю работу. Сперва беру топор и ведро и иду по воду, если только это не сон. После холодной и снежной ночи нужен волшебный прутик[275], чтобы ее найти. Каждую зиму дрожащая водная поверхность, чувствительная ко всякому дуновению, отражающая все смены света и тени, твердеет на целый фут, а то и полтора в глубину, так что может выдержать самую тяжелую подводу, а иногда еще на столько же покрывается снегом, и ее не отличишь от любого поля. Подобно суркам на соседних холмах, пруд закрывает глаза и на три с лишком месяца впадает в спячку. Стоя на заснеженной равнине, точно на лугу среди холмов, я врубаюсь сперва на фут в снег, потом на фут в лед и открываю у своих ног окошко; наклоняясь к нему напиться, я заглядываю в тихое жилище рыб, усыпанное, как и летом, светлым песком, наполненное мягким светом, словно пропущенным сквозь матовое стекло; там царит безмятежный, вечный покой, тот же, что в янтарном небе, гармонирующий с бесстрастным и ровным нравом обитателей. Небеса находятся у нас под ногами, а не только над головой.

Ранним утром, когда все поскрипывает на морозце, приходят люди с удочками и скудным завтраком и закидывают тонкие лесы в глубь снежного поля, за окунями и молодыми щуками; дикие люди, которые инстинктивно следуют иным обычаям и доверяют иным авторитетам, чем их земляки, — своими походами они связуют города воедино, там, где связь иначе распалась бы. Они садятся завтракать на берегу, на сухих дубовых листьях, одетые в грубую шерстяную одежду, сведущие в науке Природы, как горожане — в других науках. Они не заглядывают в книги; они знают и умеют рассказать гораздо меньше, чем могут сделать. Многие из того, что они делают, говорят, еще не открыто наукой. Вот один ловит щук на окуня. Вы изумленно заглядываете к нему в ведро, словно в летний пруд; должно быть, он запер у себя лето или знает, где оно прячется. Ну, откуда он достал все это среди зимы? Очень просто — когда земля промерзла, он добыл червей из гнилых колод, а на них наловил окуней. Он погружается в жизнь Природы глубже, чем ученый-натуралист и сам мог бы служить такому ученому предметом изучения. Последний в поисках насекомых осторожно приподымает ножом мох и кору; а первый разрубает топором бревно, так что мох и кора летят во все стороны. Он зарабатывает на жизнь, сдирая кору с деревьев. Такой

человек имеет известное право рыбачить, и мне нравится наблюдать в нем свершение законов Природы. Окунь глотает червя, щука глотает окуня, рыболов — щуку, и так заполняются все деления на шкале бытия.

Бродя возле пруда в туманные дни, я иногда с интересом наблюдал, какими примитивными методами пользуются иные рыболовы. Они кладут ольховые сучья на узкие проруби, отстоящие футов на шестьдесят друг от друга и на столько же удаленные от берега, привязывают конец леси к палке, чтобы ее не затянуло, перекидывают ее через одну из ольховых веток, торчащих надо льдом примерно на фут, и прикрепляют к ней сухой дубовый лист; когда лист дернет книзу, рыболов знает, что у него клюнуло. Проходя берегом, то и дело видишь сквозь туман эти ольховые сучья.

О, уолденские щуки! Вот они лежат на льду или в углублении, которое рыболов вырубает во льду, с маленьким отверстием для воды, и всякий раз я удивляюсь их редкостной красоте, словно это сказочные рыбы, — до того они чужды нашим улицам и даже лесу, так же чужды, как Аравия, всей нашей конкордской жизни. Они ослепительно, несравненно прекрасны и так непохожи на трупную треску и пикшу, которую громко расхваливают торговцы. Их цвет — это не зеленый цвет сосны, не серый цвет камней и не синий цвет неба; он кажется мне более редкостным, подобным окраске цветов или драгоценных камней, точно это жемчужины, живые nuclei (ядра — лат.) или кристаллы уолденской воды. Они всецело принадлежат Уолдену; они сами — маленькие Уолдены животного царства. Удивительно, что их здесь ловят; что в этом глубоком просторном водоеме, над которым громяют повозки и позвякивают сани, проезжающие по Уолденской дороге, плавают эти большие изумрудно-золотистые рыбы. Я никогда не видал таких на рынке; от них там не могли бы отвести глаз. Несколько судорожных движений — и они легко испускают свой водяной дух, точно смертный, до срока вознесенный живым в разреженный воздух небес.

В начале 1846 г., желая найти давно потерянное дно Уолденского пруда, я тщательно обследовал его,[276] прежде чем он вскрылся, с помощью компаса, цепи и лота. О дне, вернее о бездонности, этого пруда рассказывали множество совершенно необоснованных историй. Удивительно, как долго люди могут верить, что дна нет, не давая себе труда промерить его. За одну прогулку я побывал на двух таких бездонных прудах в нашей местности. Многие считали, что Уолден выходит прямо на другую сторону земного шара. Иные подолгу лежали на льду, глядя сквозь это обманчивое стекло, да еще, вероятно, слезящимися глазами; торопясь сделать выводы, пока не схватили воспаление легких, они видели огромные ямы, «куда можно провезти воз сена», — если бы было кому везти, — т. е. явные истоки Стикса и местные врата Ада. Другие являлись из деревни с грузом в полцентнера и целым возом каната, но так и не смогли найти дно; пока груз где-то покоился, они травили веревку, тщетно пытаясь измерить свою подлинно безграничную способность верить чудесам. Но я смею заверить читателей, что у Уолдена имеется достаточно плотное дно на вполне правдоподобной, хотя и необычной глубине. Я легко достал его с помощью рыболовной леси и камня весом примерно в полтора фунта и смог точно определить, когда камень отделился от дна, потому что мне пришлось тянуть гораздо сильнее, пока вода не стала помогать мне снизу. Наибольшая глубина пруда составляет ровно 102 фута; сюда можно добавить те пять футов, на которые с тех пор поднялся его уровень, т. е. всего 107. Это — удивительная глубина для пруда столь небольших размеров,

но даже такая цифра мала для ненасытного воображения. А что, если бы все пруды были мелкими? Не оказало ли бы это влияния на умы? Я благодарен, что этот пруд настолько глубок и чист, что может служить символом. Пока люди верят в бесконечность, они будут считать некоторые пруды бездонными.

Один местный фабрикант, услышав о моих измерениях, решил, что они неверны, так как знал, по опыту с плотинами, что песок не мог бы удерживаться на таком крутом склоне. Но самые глубокие пруды менее глубоки по отношению к своей площади, чем полагает большинство, и если бы их осушить, из них не получилось бы особенно живописных долин. Это не чаши между холмами; и даже наш пруд, необычно глубокий для своей площади, в вертикальном сечении через центр представляется не глубже мелкой тарелки. Большинство прудов, если спустить из них воду, окажутся луговинами, не глубже обычных. Уильям Гилпин,[277] замечательно и обыкновенно весьма точно описывающий ландшафты, стоя у начала Лох Файна в Шотландии, который он называет «соленым заливом глубиной в 60–70 фатомов, шириной в четыре мили, а длиной около пятидесяти, окруженным горами», пишет: «Если бы мы увидели его тотчас после древнего обвала или иной породившей его судороги Природы, прежде чем туда хлынула вода, какая это была бы зияющая бездна!

*А наряду с вершинами крутыми
Вдруг опустилась почва, обнажив
Глубокое русло [278]*

Но возьмем кратчайший диаметр Лох Файна и сравним его с Уолденом, который, как мы говорили, в вертикальном сечении всего лишь мелкая тарелка, и он окажется в четыре раза мельче. Теперь мы легко представим себе и зияющую бездну безводного Лох Файна. Несомненно, что многие приветливые долины, покрытые колосющимися полями, — это такие же «зияющие бездны», откуда отступили воды; хотя только проникательный геолог может убедить в этом ничего не подозревающих жителей. Пытливый глаз часто обнаруживает в низких дальних холмах берега первозданного озера; чтобы скрыть их историю, не понадобилось последующего повышения равнины. Но легче всего обнаружить впадины по лужам, остающимся после дождя; это хорошо знают те, кто работает на дорогах. Дело в том, что воображение, если дать ему хоть малейшую волю, ныряет глубже и взлетает выше границ Природы. Глубина океана, вероятно, окажется очень незначительной в сравнении с его площадью.

Так как я производил измерения через ледяной покров, я смог определить рельеф дна более точно, чем при измерении незамерзающих заливов, и был изумлен правильностью этого рельефа. В самой глубокой части лежит несколько акров, более ровных, чем любое поле, открытое солнцу, ветру и плугу. В одном наудачу выбранном направлении глубина на протяжении 500 футов не менялась даже на фут; и вообще на середине пруда я мог в радиусе до 100 футов заранее вычислить глубину с точностью до трех-четырех дюймов. Некоторые любят говорить о глубоких и опасных ямах даже в таком спокойном песчаном дне, но все неровности сглаживаются под действием воды. Правильность дна и его соответствие берегам и цепи окружных холмов была такова, что какой-нибудь отдаленный мыс угадывался по измерениям, производимым совсем в другой части пруда, а его направление можно было определить, наблюдая противоположный берег. Мыс становится

как бы отражением отмели, а долина и ущелье — отражением глубоководных мест и узких проливов.

Составив карту пруда[279] в масштабе 160 футов = 1 дюйму и записав более 100 промеров, я установил удивительное совпадение. Заметив, что цифра, означавшая наибольшую глубину, оказалась примерно в центре карты, я положил линейку сперва вдоль карты, а затем поперек и к своему удивлению обнаружил, что линия наибольшей длины пересекала линию наибольшей ширины *как раз* в точке наибольшей глубины, хотя на середине дно ровное, очертания пруда далеко не правильны, а наибольшую ширину и длину я получил, измеряя также и бухты. Тут я сказал себе: не этот ли принцип определяет и наибольшую глубину океана, как и любого пруда и лужи? И не он ли лежит в основе измерения высоты гор, если рассматривать их как противоположность долин? Нам известно, что холм всего выше не там, где он всего уже.

Из пяти бухт я промерил три и во всех трех обнаружил мель поперек входа и бóльшую глубину внутри, так что бухта вдавалась в сушу не только горизонтально, но и вертикально, образуя как бы отдельный водоем или пруд, а направление обоих мысов, ограничивавших бухту, указывало, как расположена мель. На морском побережье каждая гавань также имеет при входе мель. Чем шире был вход в бухту в сравнении с ее длиной, тем больше была глубина перед мелью по сравнению с глубиной внутри бухты. Таким образом, зная длину и ширину бухты и характер берегов, мы располагаем почти всеми данными, чтобы вывести общую формулу для всех случаев.

Чтобы проверить, насколько точно я смогу угадать с этими данными точку наибольшей глубины пруда с помощью одного только наблюдения его поверхности и общего характера берегов, я начертил план Белого пруда, который имеет площадь около 41 акра и, подобно нашему, не имеет островов, а также видимых истоков и оттока. Поскольку линия наибольшей ширины оказалась очень близко к линии наименьшей ширины — первая там, где в сушу вдавались два залива, лежащие друг против друга, а вторая там, где навстречу друг другу выступали два мыса, — я выбрал в качестве точки наибольшей глубины точку, близкую к этой последней и лежащую вместе с тем на линии наибольшей длины. Проверка показала, что наибольшая глубина была менее чем в 100 футах оттуда, еще дальше в направлении моей поправки, а цифра оказалась всего на фут больше — 60 футов. Разумеется, подводное течение или остров намного осложнили бы мои вычисления.

Если бы нам были известны все законы Природы, достаточно было бы одного факта или описания одного явления, чтобы вывести всю их совокупность. Но мы сейчас знаем лишь очень немного этих законов, и ошибки в наших вычислениях вызываются не путаницей в Природе, а нашим незнанием основных расчетных данных. Наши понятия о законе и гармонии ограничиваются обычно лишь подмеченными нами случаями; но несравненно чудеснее гармония, вытекающая из гораздо большего числа по видимости противоречивых, а на деле согласных между собой законов, которые нами еще не обнаружены. Каждый отдельный закон — это как бы точка, с которой нам открывается то или иное явление; так путешественнику с каждым шагом представляются все новые и новые очертания одной и той же горы, у которой бесчисленное множество профилей, но одна неизменная форма. Даже расколов ее или пробуравив насквозь, мы не охватываем ее в ее целостности.

Мои наблюдения над прудом верны и для области этики. Здесь также действует закон средних чисел. По правилу двух диаметров мы не только находим солнце в нашей планетной системе и сердце в человеческом теле; проведите линии наибольшей длины и наибольшей ширины через всю массу повседневных дел человека и через волны жизни, захватив также его бухты и фиорды, и на месте их пересечения вы найдете вершину или глубину его души. Быть может, достаточно знать направление его берегов и прилегающую местность или обстоятельства, чтобы вычислить его тайные глубины и его дно. Если вокруг него громоздятся горы, ахиллесовы берега,[280] чьи вершины нависают над ним и отражаются в его сердце, это говорит о таких же глубинах в нем самом. А низкие и ровные берега показывают, что там мелко. Так же и в нашем теле: смело выступающий лоб указывает на глубину мысли. У входа в каждую нашу бухту или склонность также лежит мель, и каждая на время служит нам закрытой гаванью, где мы задерживаемся. Склонности эти обычно не случайны, их форма, размеры и направление определяются очертаниями берегов и прежней осью поднятия. Когда бури, приливы или течения постепенно нарастят мель или спад воды обнажит ее, и она выступит над поверхностью, прежняя едва заметная впадина, где приютилась мысль, становится самостоятельным озером, отрезанным от океана, а мысль обретает там особые условия и может под их влиянием превратиться из соленой в пресную, стать годной для питья, или мертвым морем, или болотом. Всякий раз, когда в мир является новый человек, не выступает ли где-нибудь на поверхность такая мель? Правда, мы так неискусны в навигации, что мысли наши большей частью плывут вдоль берега, не имеющего гавани; они знакомы лишь с бухтами поэзии или стремятся в открытые порты и становятся в сухие доки науки, где их просто ремонтируют, и ни одно естественное течение не придает им индивидуального своеобразия.

Что касается истоков Уолдена и оттока из него воды, то я не обнаружил ничего, кроме дождя, снега и испарения, хотя, быть может, с помощью термометра и веревки можно было бы отыскать подводные ключи, потому что в этих местах вода должна быть летом всего холоднее, а зимой теплее. Когда зимой 1846/47 г. здесь рубили лед, рабочие при укладке льдин однажды забраковали часть их, потому что они были тоньше и не укладывались вместе с остальными. Так обнаружилось, что в одном месте лед был на два-три дюйма тоньше, чем остальной, и это заставило рабочих предположить, что там в пруду бьет родник. В другом месте они показали мне, как они думали, сквозное отверстие, через которое вода из пруда просачивалась под холмом на соседний луг; они подтолкнули меня туда на льдине, чтобы я мог разглядеть его поближе. Это было небольшое углубление, футах в десяти под поверхностью воды, но я, видимо, могу гарантировать, что если они не найдут худшей течи, пруд обойдется без починки. Один из них предложил, если такая «течь» найдется, проверить, не соединяется ли она с лугом, подбросив к отверстию цветной порошок или опилки, а потом профильтровать воду в луговом ручье, в котором должны оказаться эти цветные частицы, вынесенные течением.

Когда я производил промеры, лед на пруду, толщиной в 16 дюймов, волновался под легким ветром, точно вода. Известно, что на льду нельзя применять ватерпас. В 15 футах от берега наибольшие колебания, отмеченные с помощью ватерпаса (установленного на берегу и направленного на шест с делениями, стоявший на льду), составляли три четверти дюйма, хотя лед казался прочно примерзшим к берегу. На середине они, вероятно, были больше. Будь наши инструменты достаточно тонки, как знать? — быть может, мы уловили бы

волнообразные колебания земной коры. Когда две ноги моего ватерпаса стояли на берегу, третья — на льду, а маркшейдерские знаки были направлены надо льдом, ничтожные колебания льда составляли для дерева на другом берегу пруда разницу в несколько футов. Когда я стал делать проруби для своих измерений, на льду, под глубоким слоем снега, давившего на него, оказалось три-четыре дюйма воды; но в эти проруби тотчас же устремилась вода и текла в течение двух дней сильными потоками, которые со всех сторон подмыли лед и способствовали осушению поверхности пруда; ибо вся эта вода подняла лед, и он всплыл. Похоже было на то, что я прорубил отверстие в днище корабля, чтобы выпустить оттуда воду. Когда такие отверстия замерзают, а потом идет дождь, и новый мороз образует поверх всего свежий гладкий лед, он бывает изнутри красиво расписан темными линиями, несколько напоминающими паутину; эти ледяные розетки — следы водяных струй, стекавших со всех сторон к одному центру. А когда на льду стояли мелкие лужи, мне случалось видеть сразу две свои тени, причем одна стояла на голове у другой — одна на льду, вторая на деревьях или на склоне холма.

Еще в студеном январе, когда снег и лед лежат толстым и прочным слоем, хороший хозяин приходит из деревни запастись льдом для охлаждения напитков в летний зной; до чего же это мудро и дальновидно — предвидеть июльскую жару и жажду сейчас, в январе, когда на тебе толстое пальто и варежки! А между тем, многими вещами мы не запасаемся. Вот и он, вероятно, не запасает на земле ничего, что могло бы утолить его жажду на том свете. Он рубит и пилит лед на пруду, раскрывает над рыбами крышу и увозит их родную стихию, воздух, которым они дышат, перевязав его веревками, точно дрова, пользуясь зимним морозом, в холодные погреба, где лед пролежит до лета. Когда лед везут по улицам, он кажется издали отвердевшей лазурью. Ледорубы — веселый народ, любители посмеяться и пошутить; когда я появлялся среди них, они предлагали мне пилить с ними вместе, с условием, чтобы я стоял внизу.

Зимой 1846/47 г. на пруд в одно прекрасное утро неожиданно явилась сотня людей северного происхождения, а с ними — множество возов, груженных неуклюжими сельскохозяйственными орудиями, санями, плугами, тачками, садовыми ножами, лопатами, пилами, граблями; каждый был вооружен обоюдоострой пикой, описания которой вы не найдете в «Новоанглийском фермере»[281] или «Культиваторе». Я подумал, что они явились сеять зимнюю рожь или еще какой-нибудь злак, только ввезенный из Исландии. Не видя удобрения, я предположил, что они, как и я, намерены обойтись без него и считают, что почвенный слой здесь глубок и достаточно долго пролежал под паром. Они сказали, что всем делом руководит некий богатый фермер,[282] который пожелал удвоить свое состояние и без того уже составляющее полмиллиона; а чтобы удвоить свои доллары, он решил содрать единственную одежду, вернее шкуру, с Уолдена, в самый разгар суровой зимы. Они тотчас взялись за дело и начали пахать, боронить и бороздить, в отличном порядке, точно устраивали образцовую ферму; но пока я старался разглядеть, что за семена они бросают в борозду, парни принялись ловко срезать целинную почву до самого песка, вернее, до воды, потому что почва здесь пропитана водой, как губка, — она, собственно и составляет всю terra firma (твердую землю — лат.) — и грузить ее в сани; тут я догадался, что они добывают торф. Так они являлись каждый день, возвещаемые особым воем паровоза, из каких-то, как мне казалось, арктических областей, точно стая заполярных птиц. Правда, скво Уолден иногда мстила им; то кто-нибудь из рабочих, идя за своей упряжкой,

проваливался в расщелину, ведущую прямо в Тартар, терял всю свою удаль и почти все тепло и рад был приютиться у меня и признать, что печь — вещь недурная; то мерзлая земля откусывала кусок стального лемеха, или плуг застревал в борозде, и его приходилось вырубать оттуда.

Говоря точнее, сотня ирландцев во главе с американскими надсмотрщиками ежедневно приезжала из Кембриджа за льдом. Они рубили его на куски хорошо известными методами, которые нет нужды описывать, подвозили на санях к берегу и с помощью железных крюков и системы блоков, приводимых в движение лошадьми, подымали на воздух, точно бочонки с мукой, и укладывали рядами друг на друга, словно строили фундамент обелиска, который должен был упереться в облака. Они говорили мне, что в удачный день могут добыть до тысячи тонн, а это — съём примерно с одного акра. Проезжая ежедневно по одному месту, сани проделали во льду, как и на terra firma, глубокие колеи; а лошади постоянно ели овес из кормушек, выдолбленных во льду. Так они нагромоздили льда на 35 футов в высоту на площади более чем в 100 квадратных футов, а между внешними слоями проложили сена, чтобы не было доступа воздуха, потому что ветер, даже самый холодный, стоит ему найти сквозную щель, выдувает во льду большие пещеры, только местами оставляя хрупкие опоры, и в конце концов совсем разрушает его. Сперва сооружение казалось огромной голубой крепостью или Валгаллой[283], но когда в щели насовали грубого лугового сена, и оно обросло инеем и сосульками, получились древние мшистые руины из голубого мрамора, настоящее жилище Деда Мороза, каким его изображают на календарях, — его собственная хижина, точно он собрался провести с нами лето. Рабочие считали, что не доставят до места и 25 % всего льда, а еще процента два-три растает при перевозке. Однако еще большей части этого льда была уготована иная, непредвиденная участь; то ли лед оказался менее крепок, чем думали, и содержал больше воздуха, то ли по другой причине, но только он так и не попал на рынок[284]. Запас примерно в десять тысяч тонн, сделанный зимой 1846/47 г., был укрыт сеном и досками; в июле его раскрыли и часть льда увезли, но все остальное осталось под солнцем, простояло лето и следующую зиму и окончательно растаяло только к сентябрю 1848 г. Таким образом, пруд почти целиком вернул себе свое.

Уолденский лед, как и вода, имеет вблизи зеленый оттенок, а издали кажется прекрасного голубого цвета, и вы легко отличаете его от белого речного льда и от зеленоватого льда других прудов, лежащих в какой-нибудь четверти мили от него. Иногда одна из ледяных глыб падает с саней ледоруба на деревянную улицу и лежит там неделю, точно гигантский изумруд, привлекая общее внимание. Я заметил, что кусок Уолдена, в жидком состоянии казавшийся зеленым, кажется с того же расстояния голубым, когда замерзает. Иногда зимой ямки на берегу пруда наполняются зеленоватой водой, а на Другой день превращаются в голубой лед. Быть может, голубой цвет воды и льда объясняется содержащимися в них светом и воздухом; самый прозрачный и будет самым голубым. Лед — интересный предмет для наблюдений. Говорят, что в некоторых складах на Свежем пруду лед отлично сохраняется по пять лет. Отчего ведро воды так скоро загнивает, а в замороженном состоянии навсегда сохраняет свежесть? Принято считать, что таково же отличие страстей от разума.

Итак, в течение двух с лишним недель я наблюдал из своего окна за работой сотни озабоченных людей с упряжками и всеми орудиями сельскохозяйственного труда —

картинка, какие мы видим на первой странице календаря; глядя на них, я каждый раз вспоминал басню о жаворонке и жнецах[285] или притчу о сеятеле[286] и тому подобное; а сейчас все они ушли, и еще через месяц я, вероятно, увижу из того окна только сине-зеленую воду Уолдена, отражающую облака и деревья и испаряющуюся в полном уединении, и не найду никаких следов человека. Быть может, я услышу хохот одинокой гагары, которая разглаживает перья, вынырнув из воды, или увижу рыболова в лодке, созерцающего свое отражение и похожего на плавучий лист; а недавно здесь спокойно, как на твердой земле, трудилась сотня людей.

Итак, оказывается, что томимые зноем жители Чарлстона и Нового Орлеана, Мадраса, Бомбея и Калькутты пьют из моего колодца[287]. По утрам я омываю свой разум в изумительной философии и космогонии Бхагаватгиты[288] со времени ее сочинения прошла целая вечность, и рядом с ней наш современный мир и его литература кажутся мелкими и пошлыми; мне думается, что эта философия относится к некоему прежнему существованию человечества — так далеко ее величие от всех наших понятий. Я откладываю в сторону книгу и иду к колодцу за водой и, о чудо! — встречаюсь там со слугой брамина, жреца Браммы, Вишну и Индры, который все еще сидит в своем храме на Ганге, погруженный в чтение Вед, или живет в корнях дерева, питаюсь хлебом и водой. Я встречаю его слугу, пришедшего за водой для своего хозяина, и наши ведра вместе опускаются в колодец. Чистая вода Уолдена мешается со священной водой Ганга. Подгоняемая попутным ветром, она течет мимо мифических островов Атлантиды и Гесперид, по пути, пройденному Ганноном[289], мимо Терната и Тидора,[290] мимо входа в Персидский залив, согревается теплыми ветрами Индийского океана и течет дальше к берегам, которые Александр[291] знал только по названиям.

Версия #1

Зверобой создал 10 апреля 2025 22:17:17

Зверобой обновил 10 апреля 2025 22:18:41